

ИСТОРИЯ

Д. В. Бугров

В ОЖИДАНИИ ИНОГО: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ЖУРНАЛА «ИДЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

В октябре 1907 г. в Санкт-Петербурге появился новый журнал. Ему была уготована совсем недолгая жизнь, и возможно, в невообразимой пестроте легальных, полулегальных и нелегальных печатных изданий самых разных политических оттенков, литературных достоинств, редакторских пристрастий и читательских аудиторий этот журнал растворился бы, остался невостребованным и исчез в омуте забвения. Не помогло бы и претенциозное название — «Идеальная жизнь». В конце концов, издав всего 5 выпусков за каких-то 3 месяца существования (1-й выпуск — в октябре, 2-й и 3-й — в ноябре, сдвоенный 4—5-й — в декабре 1907), редакция явно не сумела обрести своего читателя, а потому, казалось бы, почти сразу ставшие раритетом номера «Идеальной жизни» представляют лишь археографическую ценность, своеобразный самодостаточный артефакт, углубляясь в изучение которого, можно попытаться восстановить редакторские амбиции и в лучшем случае подтвердить тезис об искательном характере рефлексии российской интеллигенции в эпоху революционных потрясений и войн индустриальной эпохи — эпохи, приготовившей гремучий коктейль из рационализма и его противоположности. Техницизм, сциенцизм, гностицизм плохо смешивались с сенсуализмом, эсхатологизмом, эскапизмом, агностицизмом — и полученный коллоидный раствор поражал воображение просвещенной части общества иррациональностью и утонченностью декадентствовавшего модерна.

Сова Минервы, как всегда, вылетевшая на волю в очередные сумерки человечества, вряд ли могла разобраться, вечерние это сумерки или все-таки утренние. Во мгле — предрассветной ли, предзакатной — надвигалась новая

эпоха, пугавшая своей неизведанностью тех, кому выпало жить в эту «серебряную» пору. Издатели «Идеальной жизни» сполна прочувствовали нерв эпохи — неразгаданность грядущих времен чрезвычайно тревожила их, решившихся выступить не просто с очередным политизированным журнальным проектом, а с претензией на роль навигаторов — штурманов-поводырей обеспокоенного переменами человечества в бурном море проблем и страстей начала XX в. Подчеркнуто внепартийная, прогрессистско-объективистская позиция, просветительский пафос, безусловная эрудиция и изысканность обращения с потенциальным читателем как с равным, посвященным, единомышленником выделяли журнал в печатной многоголосице межреволюционного времени. Но особенно пристального внимания заслуживает идея, заявленная четко и без обиняков в редакционно-издательском предуведомлении к 1-му выпуску. Эта идея сама по себе, ее констатация и концептуализация наряду с последовавшей затем попыткой инсталляции провозглашенного концепта в готовую к его восприятию интеллектуальную среду составляют не только (и не столько) продуманную издательскую стратегию. Знакомство с направленностью и контентом «Идеальной жизни» позволяет утверждать: журнал представляет собой редкий и потому весьма интересный феномен выражения культурной практики в ее социальности, заявленной, если можно так выразиться, как внесоциальность (не путать с асоциальностью!).

«Россия переживает момент всеобщего брожения умов. Больше, чем во всякое другое время чувствуется неустойчивость общественного мнения... — отмечал редактор-издатель М. С. Кауфман, знакомя читателя с принципами подбора материалов журнала. — Именно теперь особенно важно для рвущейся вперед и мечущейся из стороны в сторону общественной мысли найти ту направляющую линию, тот маяк, который освещал бы пути к достижению нового строя и сделал бы ближайшее шествие к этому новому общественному порядку более планомерным, более осмысленным и более целесообразным» [Идеальная жизнь, 1907, № 1, 1]¹. По мнению издателя, человечество до сих пор не пришло к какому-либо общему социальному идеалу: «разнообразие схем и построений будущего общества, многочисленность политических партий, пестрота оттенков в их программах и еще большие разногласия в вопросах тактики — все это слишком ясно показывает, как мы далеки еще от этого идеала». Вместе с тем вектор развития социальной и политической мысли человечества уже определился: это «беспрестанные поиски идеала лучшей жизни». «Приступая к изданию нашего журнала, мы не ставили своей целью проповедь какого-либо определенного идеала, — обозначил М. С. Кауфман свою позицию. — Наша задача носит более скромный характер: мы хотим наших читателей познакомить с наиболее выдающимися произведениями той литературы, которую, главным образом, интересуется жизнь будущего». При

¹ Далее ссылки на этот журнал даются с указанием номера и страницы цитируемого текста.

этом редакция обещала не навязывать читателю своих симпатий и предлагать ему только те сочинения, «которые уже давно получили всеобщее признание, но были мало доступны для широкой публики». Цель издания, по мнению его вдохновителя, будет полностью достигнута, «если из всего разнообразия перспектив и проектов грядущего строя, так щедро разбросанных в произведениях предлагаемого нами журнала, наш читатель путем сравнительного изучения остановится хоть на одном» [№ 1, 1—2].

Первый выпуск «Идеальной жизни» явно задумывался как программный: кроме цитируемого выше редакционно-издательского послания читателю, в нем была помещена доктринальная статья без подписи, но с весьма характерным заголовком «Значение утопий». Ее автор предположил, что каждый сознательный человек, будучи целеустремленным, чувствует потребность продумать свои идеи до конца и потому стремится познать все возможные последствия практического осуществления своих идеалов посредством построения в своем воображении «надстройки того будущего здания, фундамент которого смутно очерчивается перед ним в условиях современности». Очевидно, всякий думающий индивид испытывает инстинктивную потребность в конкретизации будущего. За этим предположением незамедлительно следовал вывод: «Чем основательнее, детальнее и художественнее представляется ему это здание будущего, тем яснее, сознательнее, прочнее делаются его убеждения, тем продуктивнее становится его работа». Но справиться с этой задачей способны лишь «великие умы и гениальные мечтатели», творцы, печать личности которых лежит на каждом рисунке будущего. Констатируя, что создаваемые ими картины зависят от темперамента, степени просвещенности, личных симпатий и влияния окружающей среды на художника-философа, гениального мыслителя и пророка будущего, автор статьи приходит к заключению: наибольшую ценность приобретают те произведения, в которых содержатся «стройно законченные поэтические изображения жизни», принимающие «конкретные, ярко-выпуклые формы гармоничного целого». Эти «пророчества великих мечтателей, громадных умов, светлых, обладающих даром провидения», составляют золотой фонд утопии — жанра литературы, утвердившегося на границе «между чистой литературой и социально-политической философией». Мало того, утопия — не просто жанр научной фантастики: «Искусство конструировать изображение действительности будущего на основании данных прошлого и характерных черт современности — самое трудное из искусств, высшее искусство» [№ 1, 3—4].

Утопические пророчества, по мнению автора, обречены на реализацию если не полностью, то хотя бы частично, «ибо выдающиеся утописты обладают знанием человеческой души и благодаря своей строго научной, серьезной подготовке и гениальной фантазии всегда провидят и учитывают главные тенденции отдаленного будущего». Согласно рационально-просветительским убеждениям, иначе и быть не может: «...основные положения в большинстве случаев должны оказаться верными, фундамент — прочным и целе-

сообразным». При этом утопии очень часто оказываются буревестниками, предшественниками социального кризиса. Так, например, «Мор явился за год до начала Лютеровой агитации; Морелли — за несколько лет до Французской республики; Кабе — накануне 1848 г.» [Там же, 5].

В любой утопии идеал будущего соседствует с критикой настоящего. Это совсем не удивительно, ведь, рисуя картину грядущей жизни, гениальный фантаст имеет перед глазами современную ему действительность; «конструируя великолепнейшее здание — храм, он сам живет в старом, промозглом доме тюремной постройки». Оттого творимая им картина запечатлевает не только яркие, светлые краски будущего, но и черные, мрачные пятна современности, и потому «лучшего агитационного приема, лучшего, более верного способа пропаганды, более надежного орудия борьбы с существующими предрассудками, неуверенностью, нерешительностью нельзя придумать» [№ 1, 7]. Завершая вводную статью, анонимный автор торжественно провозгласил: «Утопии принадлежат не только к высшим отраслям искусства, но и к самым полезным проявлениям его, и польза их не узко материальная, временная, местная, а общечеловеческая, вечная, как все гениальное, великое в творчестве человеческого духа» [Там же, 8].

Кстати, сама «Утопия» Т. Мора, оказавшая заметное влияние на многих мыслителей последующих эпох, была включена в список произведений о будущем, которые редакция предполагала со временем опубликовать в своем журнале. Значился в этом списке и роман Э. Беллами «Взгляд назад», необыкновенно популярный не только на его родине, в Америке, но и в России начала XX в.: по свидетельствам современников, этой книгой зачитывались в революционных кругах наряду с «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, «Оводом» Э. Л. Войнич и «Спартак» Р. Джованьоли. Однако поместить на своих страницах журнал успел лишь два романа. Они печатались одновременно, шли с продолжением и даже были неплохо иллюстрированы, а также снабжены биографиями авторов.

Первым из них, открывая выпуски «Идеальной жизни», шел фантастический роман «Грядущая раса» Л. Олифанта (Э. Бульвер-Литтона) — члена палаты лордов и, по утверждению переводчика, «одного из лучших английских писателей XIX века». Этот роман явно представлял собой образцовую утопию для обоих редакторов-издателей «Идеальной жизни» — и для М. С. Кауфмана, и для сменившей его уже со 2-го выпуска Л. Б. Гринберг. Герой Бульвер-Литтона попадал в подземный мир — своего рода Плутонию, но лишенную собственного местного светила: высокоразвитые обитатели здешних мест для освещения, как и для множества иных целей, применяли универсальный «вриль», чудесную жидкость, совмещавшую в себе, по словам автора, все силы природы — электричество, магнетизм и т. п. Свободно перемещавшийся по воздуху с помощью механических крыльев подземный народ использовал в качестве прислуги автоматы (великий К. Чапек еще не успел придумать и ввести в обиход слово «робот»).

В этом мире, не знающем потрясений, достигшем всеобщего благополучия благодаря «врилю» — одновременно и непобедимому сверхоружию, и неиссякаемому источнику мирной энергии, живут счастливые, беспорочные долгожители-вегетарианцы, называющие себя «врилья» (что означает «цивилизованные»). Они всем довольны (поскольку весьма умеренны в потребностях), во всем равны, начисто лишены честолюбия и зависти, покой рассматривают как высшее благо, верят в Бога и загробную жизнь. По определению подземных мудрецов, цивилизация есть не просто счастье обладания «врилем», а «искусство доставить всему обществу довольство и покой, которыми наслаждается благоустроенное и нравственное семейство» [№ 1, 22]. При помощи вриля обитатели подземного мира меняют к лучшему климатические условия, развивают мозг человека, преобразуют животную и растительную жизнь. Погружаясь в транс (магнетический сон), они в состоянии «возбудить все способности ума до высшей степени напряжения... обмениваться мыслями и быстро усваивать всевозможные знания». Довольно быстро выясняется превосходство интеллекта подземных жителей над умственными возможностями гостя; они быстро овладевают английским языком как более примитивным в сравнении с их собственным и не приспособленным «для выражения сложных понятий». Но дело даже не в уровне сложности и выразительности языка, а в том, что «организация подземных жителей гораздо совершеннее и более подготовлена долголетней, преемственной культурой к восприятию знаний» [Там же, 24].

В целом же это однообразный и довольно скучный мир, сами хозяева которого констатируют: «Ведь о нас ничего нельзя сказать, кроме одного: они рождались, жили счастливо и умирали». Герой романа не был бы американцем, если бы не попытался позитивно охарактеризовать местным жителям мир, в котором он родился. Поэтому гость, «только слегка коснувшись, смягчая по мере возможности, некоторых устаревших учреждений Европы, обширно распространился о величии Соединенных Штатов, которые наверное покорят весь старый мир». Рассказал он о могуществе Нью-Йорка, о «благодетельных учреждениях демократической Америки». Но рассказ пришельца не произвел на хозяев ожидаемого впечатления.

В свою очередь, хозяева поведали гостю историю подземного народа, предки которого в незапамятные времена спасались от мирового потопа в высоких горах, где обнаружили глубокие пещеры, послужившие им пристанищем. Спускаясь все глубже и глубже, эти люди покинули солнечный мир и погрузились в подземные пространства, освещая их искусственным светом и переживая «грубое время, когда социальная наука только нарождалась, — век злобы и вражды, жестоких страданий, грозных социальных переворотов, ожесточенной борьбы сословий и классов и кровавых столкновений целых государств». Как выяснилось, «только благодаря свойствам чудной всепроницающей жидкости, названной ими врилем, этот период разгула страстей пришел к концу». Энергетическая жидкость, направляемая разумной волей и

являющаяся самым могущественным фактором, в состоянии подчинять себе все виды одушевленной и мертвой материи: вриль способен убивать и взрывать, освещать подземный мир и лечить его обитателей. Его разрушительная сила оказалась столь впечатляющей, что войны прекратились сами собой, поскольку отныне ни одна из сторон не смогла бы добиться победы.

В итоге подземное общество постепенно разделилось на «множество мирных небольших общин», или племен. В состав племени входило примерно 12 тысяч семей; территория, занимаемая племенем, определялась его потребностями. Когда образовывался избыток населения, представители племени отправлялись осваивать новые земли — так основывались новые переселенческие общины, первоначально состоявшие преимущественно из молодежи, добровольно покинувшей родительские дома [№ 1, 28—29].

Все племена народа врилья составляли одну огромную семью, жившую по одним законам и говорившую на одном языке, в котором существовало несколько наречий. Государственное устройство сочетало в себе сложность и вместе с тем простоту. Главный принцип социальной организации заключался в том, чтобы «через все промежуточные, многообразные лабиринты форм достигнуть единства». Это единство выражалось в «обще-общине», которая объединяла всех врилья, избиравших из своего состава верховного вождя. Войны и преступления не имели места в этом гармоничном обществе, поэтому армия, полиция и суды отсутствовали за ненадобностью. Если возникали какие-то разногласия, то для их разрешения избирались третейские судьи, хотя иногда стороны, участвовавшие в тяжбе, предпочитали обратиться за помощью в корпорацию ученых. Американский гость с удивлением убедился в отсутствии профессиональных адвокатов, «да и сам суд представлял род добровольного соглашения, так как невозможно подчинить какому-либо решению человека, могущего одним взмахом своего жезла уничтожить и судей, и все окружающее». Писанные законы также отсутствовали — подземные жители следовали обычаям и правилам, выработанным в течение тысячелетий, сознательно подчиняясь негласному (по сути — семейному) договору: «Уходи, если тебе не нравятся наши обычаи и порядки; оставаясь же с нами, не нарушай их». Отсутствие писаного права отнюдь не вело к снижению почтения к неписаным законам: «Инстинктивное подчинение правилам и обычаям, выработанным общиной, казалось, внушено им было самой природой». Всякое проявление власти в этом обществе отличалось особой мягкостью; вместо категоричного «запрещается» в подземном мире корректно звучало вежливое «просим».

В обществе врилья, которое почитало частную собственность на землю и отрицало достижимость абсолютного имущественного равенства, была давно побеждена нищета. При этом «уровень благосостояния и род занятий совершенно не оказывали влияния на положение в общине или звание: было полное равноправие, и каждый без ложного стыда и зависти занимался и жил, как ему нравилось». Отсутствие конкуренции и эксплуатации, а также доб-

ровольная эмиграция устраняли опасность появления бедности [№ 1, 30—31]. «У нас никакое действие человека не связано с представлением о славе, пока он живет, — объясняет подземный обитатель пришельцу из верхнего мира. — Равенство, составляющее основу, спасительный элемент нашего социального уклада, вскоре погубило бы, если бы неумеренно восхваляли кого-либо из нашего общества» [№ 2, 61].

В романе показано, насколько эффективно организована система управления в идеальном мире. Иностраннный отдел ведает связями с дружественными и родственными общинами, технический отдел способствует внедрению новых технологий в постоянно совершенствуемое машинное производство, общественная служба безопасности труда уничтожает опасных для человека животных и охраняет сельскохозяйственные угодья от вредных насекомых. Важную роль играет корпорация ученых, мнение которой всегда учитывает правитель страны. Любопытно, что «в подземном мире в области чистой науки главным образом отличались женщины, хотя они не чуждались и наук, имеющих чисто практическое значение». В развитии фундаментальных исследований «женщины, обладающие более тонкой организацией, были незаменимы». Социальная роль женщины, как выяснилось, была чрезвычайно важной: будучи равноправными с мужчинами, женщины обладали большей физической развитостью («они более росли, чем мужчины, и железные мускулы скрываются под обманчивой округлостью их форм»). Именно они являлись фактическими главами семей, хотя верховное управление осуществлял все-таки мужчина. В романе описан связанный с утверждением женского лидерства конфликт полов в ранней истории подземного народа, когда женской части общества пришлось несколько умерить амбиции и отказаться от попытки установления матриархата: «женщины превосходили мужчин в умственном и физическом отношениях, но боязнь потерять мужа или страх перед появлением второй жены сильно сдерживали агрессивные их тенденции». Характерно, что институт брака является для подземных жителей священным, «сожителство же внебрачное совершенно не имеет здесь места — до такой высокой степени нравственного совершенства дошел этот народ» [№ 1, 35—36].

Надзор за работающими машинами и механизмами доверялся юношам и девушкам, стоявшим на пороге совершеннолетия (20 и 16 лет соответственно), «т. к. в эти годы наиболее развита наблюдательность и подвижность» [Там же, 32—33]. В торговых лавках обязанности продавцов исполняют «дети среднего возраста, внимательные к покупателям и понимающие сразу, чего от них требуют» [Там же, 46].

«Управление страной велось так спокойно и тихо, что трудно даже было подозревать существование какого-либо правящего органа, — отмечает автор романа-утопии. — Здесь благоустройство и порядок, казалось, были следствием какого-то непреложного закона природы» [Там же, 32].

Характерно, что «этот народ, признающий покой за высшее благо, после деятельной жизни детского возраста сразу теряет всю энергию... Конечная

цель их жизни — счастье, понимаемое ими не как момент временного удовлетворения, а как процесс, ровно и спокойно длящийся» [№ 1, 46—48]. Жизнь, по их мнению, должна быть максимально уподоблена «идеальному загробному существованию бестелесных духов». Ведь «чем ближе мы подойдем к этому блаженному состоянию, тем спокойнее и с меньшими страданиями перейдем в него». Подземные жители «убеждены, что при достижении полного умственного и физического развития жизнь будет исполнена ясного покоя. Склонности и способности каждого укажут род деятельности, и в этой жизни, радостной и проникнутой благополучием, все страсти — вражда и ненависть, борьба и соперничество — должны исчезнуть» [№ 2, 50]. Подземный народ имеет и промежуточную практическую цель — достичь высших степеней развития, а затем вернуться в покинутый когда-то верхний мир и вытеснить оттуда живущую там низшую расу [Там же, 49].

И герой Бульвер-Литтона, постоянно испытывающий томительное беспокойство, бежит от так и не понятого им до конца народа, подгоняемый тревожным ожиданием того, что когда-нибудь подземные жители прорвутся наверх, чтобы сокрушать своим всепобеждающим оружием бастионы буржуазной цивилизации...

Главный персонаж романа «Вести ниоткуда», вышедшего из-под пера другого англичанина — В. Морриса, напротив, опечален своим возвращением из мира сбывшихся грез, куда он погрузился, крепко заснув после длительного спора с пятью соотечественниками о том, «каков будет порядок жизни после революции». Во сне он встретил счастливый мир свободных тружеников, преобразивших старую Англию до неузнаваемости. Плывая по изобилующей семгой Темзе в сопровождении лодочника, отказывающегося принимать деньги за труд, гость из викторианских времен с удивлением отметил: «Исчезли мыловарни с их длинными, коптящими небо трубами, исчезли машинные фабрики, свинцовые заводы, и западный ветер не приносил с собой стука, грохота и едкого запаха угольной гари».

Вот уже полтора века, как покончено с капиталистическим гнетом и насилием; труд, тяжелые формы которого стали уделом машин, давно превратился в наслаждение (что не преминуло сказаться на повышении качества его продуктов); каждый может найти себе работу по сердцу, такую, выполнение которой столь же волнует и облагораживает, как и приобщение к искусству.

В Англии будущего отсутствует школа в обыденном понимании этого слова: здесь детей не учат (в смысле: не школят), а развивают. На лето дети и молодежь отправляются жить в леса, где овладевают навыками верховой езды, занимаются физическим трудом (исключительно для обретения здоровья и сил), закаляют характер. Зимой они ходят в школы по интересам — в школы живописи, школы разведения сельдей и прочие, посещая которые, англичане всех возрастов совершенствуют практические умения. При этом многих интересуют литература и классические языки, а умы некоторых волнует наука,

изучающая прошлое. «История привлекает внимание людей больше всего в годы смут и волнений; у нас же нет ни бурь, ни тревог, — замечает один из представителей Англии будущего. — Поэтому одни из нас изучают факты, делая выводы и обобщения, другие наблюдают взаимодействие причин и следствий» [№ 1, 20—22]. В стабильном обществе люди больше увлечены не историей и математикой, а таким «важным и интересным делом, как постройка дома, разбивка сада или устройство мостовой».

Парламентаризм изжит за нецелесообразностью, знаменитое величественное здание британского парламента используется как склад продуктов и удобрений, а время от времени служит рынком, где ведется торговля овощами и пивом [Там же, 22].

Отсутствуют и фабрики, поскольку многие промышленные товары производятся на дому («ведь механический двигатель всякий может иметь дома»). На смену грохочущим и дымящим монстрам индустриальной эпохи пришли «союзные мастерские», куда «народ приходит делать такую работу, где совместный труд более удобен или просто необходим». «Кроме того, — объясняет пришельцу местный житель, — работать вместе — это так весело!» [Там же, 35].

В идеальном обществе наблюдается равенство полов — «мужчины и женщины не господствуют друг над другом, как прежде». Понятие «брачный контракт» давно и прочно забыто; общественное мнение не властно над таким почитаемым феноменом, как любовь. Вместе с тем ведение домашнего хозяйства рассматривается женщинами будущего как весьма важное, в отличие от их эмансипированных сестер 2-й половины XIX в.: «хорошее домоводство доставляет радость и наслаждение умной женщине и благодарность и довольство окружающих». Умение приготовить обед и для женщины, и для мужчины считается достоинством [Там же, 43].

По мере общения с хозяевами гость из прошлого выясняет, что в начале XX столетия население городов, испытав ностальгическую тягу к земле, устремилось в деревни, к концу предыдущего века почти обезлюдевшие и пришедшие в упадок. Прибыв на новое место, «всякий брался за дело, к которому был способен, и никто не занимался работой, не отвечавшей его склонностям». Итогом явился расцвет сельских местностей и постепенное стирание различий между деревней и городом — город как бы рассредоточился по всей территории страны. «Теперь Англия — сад, без грабежа и разрушения, и по всей нарядной, чистой и красивой стране разбросаны и жилища, и мастерские, — рассказывает один из преуспевающих англичан. — Но мы не допускаем перепроизводства товаров, забыв о нищете и разорении» [№ 2, 51].

Законы и суды также остались далеко позади: государство как машина для подавления и наказания отжило свой век. Общество научилось искусству саморегулирования: «управление содержит в себе такие единицы — общину, квартал и приход». Если какой-то вопрос оказывается спорным, по нему трижды проводится голосование. Если сторонам не удалось договориться, после

третьей попытки меньшинство уступает и подчиняется большинству (хотя такие случаи — редкость, обычно стороны приходят к согласию, т. к. в ходе обсуждения проблемы они непременно корректны, доброжелательны и прислушиваются друг к другу) [№ 2, 65].

Читатель узнает, что страной, оказавшейся не на уровне требований времени, оказались Соединенные Штаты Америки, более других зараженные капиталистическими пороками: «свыше ста лет старается там народ над обновлением своей жизни, над очисткой того зловонного мусора, который делал жизнь прошлого такой уродливой; но, ввиду огромных размеров страны, требуется еще очень много работы» [Там же, 75].

Борьба между капиталистами и рабочим движением в 1-й половине XX в. была очень острой; участие в ней колоссально укрепило и закалило профессиональные союзы. Государство, видя накал противостояния, составило конкуренцию частным собственникам в промышленности и основало государственные предприятия «для производства действительно необходимых вещей». Этот государственный социализм принес некоторую пользу, ослабив позиции частного капитала. Но благодаря чудовищным злоупотреблениям государственные фабрики не смогли постоянно удовлетворять потребности населения, и в 1952 г. в Англии разразился глубочайший кризис, сопровождавшийся массовым голодом [Там же, 82—83]. Начались уличные беспорядки, в которых полиция не сумела взять верх над возбужденными толпами рабочих. Профсоюзы создали Комитет общественного спасения, вооружавший народ и стремившийся наладить снабжение городов продовольствием. Правящие круги ответили на рабочую активность введением в Лондоне осадного положения и попытались установить военную диктатуру, передав фактическую власть одному из молодых и талантливых в военном деле генералов. На Трафальгарской площади армия расстреляла рабочий митинг; погибло около двух тысяч человек — и после этого в Англии началась настоящая революция [Там же, 84—90]. Началась всеобщая забастовка; верные правительству офицеры почти не контролировали солдат; аристократическая молодежь, призывая «раздавить деспотичный коммунизм», организовала «Лигу друзей порядка» и принялась охотиться на рабочих активистов, на время даже установив собственную власть в Манчестере. Комитет общественного спасения проявил решительность и создал повстанческую армию, которой умело и инициативно руководили выдвиженцы из социальных низов. Революционные войска встретили поддержку большинства населения; правительственные солдаты массово переходили на их сторону [№ 3, 85—95].

Великий переворот, по убеждению В. Морриса, будет естественен как смена дня и ночи. Английский «социалист эмоциональной окраски» (так называл В. Морриса Ф. Энгельс) не верил американскому социалисту-реформисту Э. Беллами, полагавшему, что социализм можно построить мирным, парламентским путем, путем постепенных реформ. Не верил он и в бескровное построение счастливого общества при помощи сколь угодно удивительных

открытий — вроде вриля из романа Э. Бульвер-Литтона. «Нет, — твердо заявил В. Моррис, — это была борьба, борьба не на жизнь, а на смерть», революционная борьба хорошо организованных рабочих, которые, «победив, увидели, что у них достаточно силы, чтобы создать новый мир, новую жизнь на развалинах старой. И это свершилось!» По мнению одного из героев романа, «новый мир непременно должен был родиться в бурях человеческой трагедии» [№ 3, 97].

Будущий мир освобожденного труда изображен искренне и безгранично верившим в его осуществимость В. Моррисом с большой любовью, ведь, по свидетельству журнала, писатель, уже неизлечимо больной, свой последний Новый год (1896-й) встречал с радостью, потому что тот приближал его к заветной цели...

Отметим, что тему будущего и путей к нему журнал трактовал более чем широко. Он искал ее, в частности, и во взглядах современных читателю мыслителей. На страницах журнала было помещено, например, «Учение о жизни» — специально подобранные и носящие характер переложения выдержки из опубликованных к тому времени сочинений и писем Л. Н. Толстого. Безусловно, одной из целей «Учения» была критика господствующих порядков, не случайно составитель И. Тенеромо в качестве одной из основных трудностей, стоявших перед ним, указывал на сложность приспособления «острого и свободно писанного материала к теперешним цензурным условиям». Тем не менее, несмотря на цензуру, в тексте прошла выделенная курсивом центральная мысль: «Человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других. Кто будет трудиться, того будут кормить» [№ 4—5, 35].

«Человечество будет иметь высшее, доступное ему благо на земле, когда люди не будут стараться поглотить и потратить все каждый для себя...» — писалось в «Учении» [Там же, 36], утверждавшем в качестве пути к всеобщему благоденствию любовь к ближнему, которую истово проповедовал Толстой.

Предпринял журнал и публикацию серьезнейшей работы австрийского юриста А. Менгера «Экономическая и семейная жизнь в народном рабочем государстве». Работа эта, в чем-то, возможно, излишне академичная, тем не менее прямо заявляла, что в таком государстве «за отдельными лицами ни в коем случае не будет признано право господства над средствами производства» [Там же, 12].

Любопытно отметить и очерк Д. М. Городецкого «Попытки осуществления идеальной жизни на земле». Начатый во 2-м выпуске журнала, очерк должен был печататься и в следующем, но в 3-м выпуске он отсутствовал (было анонсировано его продолжение в 4-м, но в сдвоенном 4—5-м он также отсутствовал и даже не упоминался). Продолжения (вероятно, по цензурным причинам) не последовало.

Между тем очерк действительно был интересен. «Во все времена, — писал автор, — мечты и фантазии о лучшей жизни человечества шли рядом с опытами и попытками к осуществлению на земле такой жизни. Философы, по-

эты, мечтатели рисовали идеал, законодатели и реформаторы пытались проводить этот идеал в жизнь, при этом между ними происходило постоянное взаимодействие...» [№ 2, 3]. Далее Д. М. Городецкий рассказывал не только о реформаторах Древней Греции и Рима, но и о революционных преобразованиях, намечавшихся Томасом Мюнцером в ходе Крестьянской войны 1524—1526 гг. в Германии. Восторженный читатель «Утопии» Томаса Мора, Мюнцер пытался осуществить на земле идеальный строй, при котором не было бы ни классовых различий, ни частной собственности.

Другой очерк, печатавшийся в 1—3-м выпусках «Идеальной жизни», был опубликован полностью. В произведении Н. Я. Абрамовича «Человек будущего. Очерк философской утопии Ф. Ницше» осмысливался утопический аспект творчества великого германского мыслителя и обосновывался следующий тезис: «Ни одна утопия будущего не создавалась по таким исключительно личным психологическим мотивам, как утопия “сверхчеловечества” Ницше».

«В противоположность всем утопистам, мечтателям и теоретикам будущего равенства и блаженства, как Оуэн, Фурье, Сен-Симон, Кабе, Леру и др., исходившим в своих системах из идеи справедливости, альтруизма, благополучия масс, — утверждал автор очерка, — Ницше построил свою утопию на идее человеческой гордости, свободы и силы» [№ 1, 53].

Очевидно, публикуя очерк, посвященный утопическим построениям Ф. Ницше, сразу вслед за романом Э. Бульвер-Литтона, редакция «Идеальной жизни» предлагала читателю испытать своеобразный «контрастный душ». Если жители подземного мира в романе «Грядущая раса» чуждались страстей и придерживались рассудочной умеренности во всем, будучи противниками борьбы и конкуренции, то немецкий философ с его императивным мышлением предлагал совсем другое видение идеальной организации рода человеческого. «Осуществленная утопия сверхчеловечества должна дать картину жизни мощную и величественную, как Овидиева борьба титанов, — резюмирует Н. Я. Абрамович. — Вместе с развитием высшей культуры, высшего, расширяющего и обогащающего жизнь наслаждениями творчества достигает предельного развития индивидуализм, личная обособленность каждого в замкнутом круге полноты стихийных переживаний. Перенесенный сюда целиком дарвиновский закон борьбы за существование и выживания сильнейшего дополняет картину утопии». Эта гармония воли, духа и разума — совсем иная, чем в романе английского автора. «Земля делается аренной безграничного, стихийного, как она сама, развития и проявления сил и воли, — устремляется вслед за Ницше автор очерка. — Сверхчеловеки, как титаны, сделали эту землю и все на ней орудиями своего господства и своего жизненного творчества... И всюду — на всей освобожденной от мещанской и грошовой культуры земле — будет кипеть этот жизненный пир, эта война, разыгрываться стихийная симфония жизненной борьбы» [№ 2, 61].

Зададимся вопросом: а не был ли внешне сугубо просветительский подход к делу («...мы не навязываем читателю своих симпатий, мы предлагаем

ему только те сочинения, которые уже давно получили всеобщее признание, но были мало доступны для широкой публики...) своеобразной уловкой редакции «Идеальной жизни»? Журнал этот, до сих пор остававшийся практически неизвестным для специалистов, требует специального изучения, прежде чем можно будет дать четкий ответ на поставленный вопрос. Так же, как и на другой вопрос, более частный: случайно ли остросоциальный роман В. Морриса (написанный, кстати сказать, в качестве своеобразного ответа на утопию Э. Беллами — с ее чересчур заорганизованным и бесцветным обществом будущего) шел в журнале на втором плане, уступив первый безобидному в этом смысле («наивному», по определению самой редакции) роману Э. Бульвер-Литтона?

Во всяком случае, объективно направленность «Идеальной жизни», поставившей целью знакомить своих читателей с картинами будущего счастливого мира, была, конечно же, социалистической. Подобная деятельность не могла долго продолжаться в условиях наступившей стабилизации: сдвоенный последний (4—5) выпуск, датированный декабрем 1907 г., стал финальным для этого первого в России (а возможно, и в мире) журнала социальной фантастики. Анонсированное редакцией намерение приступить к публикации отечественных литературно-утопических произведений осталось нереализованным. Редакционный проект в условиях политического режима, созданного усилиями П. А. Столыпина, сам оказался утопическим.

Над притягательностью утопического жанра для социально активных писателей, для просветителей и политических деятелей, для историков, философов и литературоведов представители всех перечисленных «групп утопического риска» задумывались давно — по мере развития самого жанра. Прислушаемся к их голосам. «Мечтатели и провозвестники новых политических и социально-экономических оснований общественного устройства придавали своим планам ясность и занимательность, излагая их в виде романов или путешествий, — констатировал составитель раритетного каталога утопий В. В. Святловский. — Беллетристика, став излюбленной формой выражения социальной мысли, обрисовывала государство будущего — новый социальный строй — в определенной и законченной картине» [Святловский, 1922, 3]. Ему вторит автор фундаментального труда «История утопии», заметный персонаж политической и культурной жизни Польши последней трети XIX — первой трети XX вв. А. Свентоховский: «Человеческая масса увлекается каким-нибудь учением только тогда, когда это учение согревает им чувства». «Недостаточно бывает дать им принципы желательного общественного строя, им надо видеть этот строй целиком, во всех мелочах и найти в нем удовлетворение всех своих нужд и опасений, — продолжает польский либерал. — Поэтому утописты старались наполнить свои планы иллюзией живой действительности и касались мельчайших деталей» [Свентоховский, 1910, 418]. Наконец, знаменитый деятель бельгийской и международной социал-демократии рубежа XIX—XX вв. Э. Вандервельде похожим образом

определяет задачи утопической литературы: «Такие литературные произведения приятно конкретизируют абстрактные схемы, отвечают на тысячу мелких вопросов, которые срываются с языка неверующих, приучают нашу мысль свободно двигаться вне исторических категорий...» [Le collectivisme, 1906, 205].

А. Свентоховский высказал спорное мнение о том, что утопий «более всего произвели французы, затем — англичане, менее — немцы и итальянцы, а у славян можно только отыскать слабые зародыши их», что объясняется экономической и политической неустроенностью (не отсталостью!) славянских народов: «Может ли быть утопистом народ, сброшенный или в продолжение целых веков скатывающийся в бездну несчастья?» [Свентоховский, 1910, 419—421]. Из далекого XVIII столетия тезис польского прогрессиста печально оспаривает М. М. Херасков, один из пионеров русской литературной утопии: «...ежели нет благополучных обществ на земле, то пусть они хотя в книгах находятся и утешают наши мысли тем, что и мы со временем можем учиниться счастливыми» [Херасков, 1794, 3].

Цель своего участия в развитии утопического жанра поясняет известный публицист-почвенник, экономист, выступавший против мероприятий С. Ю. Витте, консервативный общественный деятель конца XIX — начала XX в. С. Ф. Шарапов: «Я хотел в фантастической и, следовательно, довольно безответственной форме дать читателю практический свод славянофильских мечтаний и идеалов, изобразить нашу политическую и общественную программу как бы осуществленною. Это служило для нее своего рода проверкой. Если программа верна, то в романе чепухи не получится» [Шарапов, 1902, 3—4].

Само понятие «социокультурная утопия» требует уточнения, поскольку является предметом многолетней неутихающей дискуссии. На рубеже XIX—XX столетий Ф. Клейнвехтер заметил, что уже с XVII в. становится популярной особая форма литературной утопии — *Staatsroman*, т. е. «государственный роман», повествующий о путешествиях по вымышленным странам и отражающий прежде всего описание их совершенного государственного устройства [Kleinwachter, 1891, 21]. По убеждению А. Фойгта, утопии — это «идеальные образы других миров, в возможность существования которых можно лишь верить, так как научно она не доказана» [Фойгт, 1906, 6]. В. Ф. Тотомианц дополнил это определение так: «Утопией можно назвать все те построения лучшего социального будущего, которые не нашли практического осуществления» [Тотомианц, 1917, 3]. В. В. Святловский в своем «Каталоге утопий» относит к этому жанру «только те утопические произведения, которые имеют преимущественно экономическое, социально-философское или социально-политическое содержание», оставляя за его пределами «утопии в технике, описания несуществующих стран или чудовищ, утопии явно сказочного или сатирического характера, утопии-фантазии из звериного эпоса» [Святловский, 1925, 5].

Более современным и полным представляется мнение В. П. Шестакова: «На протяжении истории утопия как одна из своеобразных форм обществен-

ного сознания воплощала в себе такие черты, как осмысление социального идеала, социальная критика, стремление бежать от мрачной действительности, а также попытки предвосхитить будущее общества» [Шестаков, 1986, 7]. В. Гуминский утверждает, что утопия как социальная фантастика — самая устойчивая разновидность фантастического творчества в человеческой истории, «тот тип фантастики, который тесно связан с самой природой общества и является своеобразной теоретико-художественной формой компенсации ущербной социальной действительности» [Гуминский, 1977, 320]. Интересна и позиция Э. Я. Баталова: «...утопию можно определить как произвольно сконструированный образ идеального социума, принимающего различные формы (общины, города, страны и т. п.) и простирающегося на всю жизненную среду человека — от внутреннего его мира до космоса» [Баталов, 1989, 23].

«Отличительная черта русской утопии, делающая ее столь непохожей на западноевропейскую, — отсутствие в ней детальной государственной регламентации. Принцип этой утопии такой: чем меньше государственного стеснения, тем лучше, — полагает С. Калмыков, концентрируя внимание на специфике отечественной литературной утопии 2-й половины XIX — начала XX в. — Другая отличительная черта русской утопии — ее всеобщий и даже вселенский характер: приглашаются все народы без различия языков и рас» [Калмыков, 1979, 14]. На наш взгляд, этот вывод является несколько поспешным и субъективным, несущим известный отпечаток политической конъюнктуры.

В свою очередь, А. С. Ахиезер, которого трудно упрекнуть в следовании конъюнктуре, трактует утопию слишком расплывчато и абстрактно — как «представление об идеальном обществе, некритическую уверенность в возможности непосредственного воплощения в жизнь традиционных, мифологических, возможно, модернизированных идеологических экспектаций» [Ахиезер, 1998, 526].

Более взвешенным представляется суждение Э. Я. Баталова: «Любой социально-утопический проект — это “слепок” с породившего его общества, обратная проекция одной исторической эпохи в другую (прошлого — в настоящее, настоящего — в будущее и т. п.)» [Баталов, 1989, 26]. Утопическое сознание Баталов, вслед за И. В. Бестужевым-Ладой, определяет как «сознание, порывающее с объективными законами функционирования и развития общества и полагающее его идеальный образ путем произвольного конструирования», социальная же утопия идентифицируется этим автором как «произвольно сконструированный образ желаемого (и в этом смысле идеального) общества» [Там же, 22—23].

По мнению Л. Сарджента, в классической утопии первичен нравственный идеал, а социальная организация вторична. В современной же утопии главное — разумная организация. Утопия, по Л. Сардженту, есть не что иное, как подробное и последовательное описание воображаемого, но локализованного во времени и пространстве общества, построенного на основе аль-

тернативной социально-исторической гипотезы и организованное (как на уровне институтов, так и на уровне человеческих отношений) совершенное, чем то общество, в котором живет автор [Sargent, 1979, XIII].

Заметим, что особую ценность в типологизации социокультурных утопий, изучении взаимодействия между утопией и традицией, определении специфики этой формы отражения общественно-политической мысли представляют работы таких крупных европейских мыслителей XX в., как К. Мангейм и Е. Шацки, которые сумели не только пристально рассмотреть феномен утопичности сознания, но и поставить под сомнение границу между утопией и политикой.

Наконец, бесспорно утверждение К. В. Чистова: «Утопическое мышление, или утопическое творчество, т. е. стремление представить себе возможные очертания будущего идеального (или, по крайней мере, значительно лучшего по сравнению с современным) общества, родственно литературному, или шире — художественному творчеству» [Чистов, 1995, 22].

Солидаризируясь с этим мнением известного фольклориста и литературоведа, позволим себе высказать собственное суждение о том, что составляет сущность анализируемого жанра. На наш взгляд, социокультурная утопия — это произведение, имеющее литературный сюжет и отражающее искреннее представление автора об идеальном обществе. Именно сюжетность, авторство и искренность отделяют понимаемую таким образом социокультурную утопию от народных преданий о «некотором царстве» и мечтаний о «золотом веке» — с одной стороны, сатирической литературы — с другой, футурологических проектов — с третьей. С четвертой стороны, социальная утопия граничит с научной фантастикой, но таковой все-таки не является, ибо, в отличие от последней, утопия возникла задолго до тех времен, когда прогресс науки и техники стал в значительной мере определять общественное сознание. Литературная ценность социокультурных утопий проблематична. Зачастую авторы создавали откровенно слабые в литературном отношении сочинения; оправданием таким утопистам может служить то, что в утопическом жанре литературные достоинства важны, но не приоритетны. Опыт журнала «Идеальная жизнь» в этом плане не является исключением: опубликованные в нем романы, увы, не относятся к лучшим творческим достижениям их авторов (и Э. Бульвер-Литтон, и В. Моррис имели в своем активе куда более удачные с литературной точки зрения произведения).

«Предчувствие побеждающей утопии, — отмечает Б. А. Ланин, — сопровождало общественную мысль и творческие импульсы русских интеллектуалов уже более двух веков» [Ланин, 1993, 3].

На старте XX в. литературная утопия в целом соответствовала известной классификации К. Мангейма, одного из основателей социологии знания, выделившего в 1929 г. четыре уровня утопической рефлексии: религиозно-хилиастическое, либерально-гуманистическое, консервативное и социалистическо-коммунистическое сознание [см.: Мангейм, 1994, 180—207]. В России

досоветского времени были представлены все названные формы утопизма [см.: Бугров, 2000, 180—207].

Несмотря на перекрестную критику со стороны либеральных и христианских мыслителей, радикально-революционная утопическая традиция прокладывала путь к умам россиян, подкрепляла философские и экономические труды вождей социал-демократии и неонародничества художественной образностью, блестящими картинами коммунистического «далека». Именно поэтому видные деятели революционного движения (те же А. А. Богданов и А. В. Луначарский) пробовали свои силы и в жанре литературной утопии. Не случаен и тот факт, что первый, по-видимому, в мире научно-фантастический журнал, опередивший по времени появления (1907) и шведский «Hugin» О. Витта, и американский «Amazing Stories» Х. Гернсбека, издавался не где-нибудь, а в России, причем как журнал не технической или авантюрно-приключенческой, а чисто социальной фантастики [Bougrov V., Bougrov D., 1990, 4]. Напомним справедливости ради, что этот журнал с красноречивым названием «Идеальная жизнь» просуществовал очень недолго (с октября по декабрь 1907 г. вышло лишь 5 выпусков), а его редакторы (М. С. Кауфман и сменившая его Л. Б. Гринберг) намеревались печатать преимущественно западных авторов (У. Морриса, Э. Беллами, Э. Бульвер-Литтона). Тем более удивительно, что «Идеальная жизнь» осталась вне поля зрения всех без исключения специалистов по утопической литературе и социальной фантастике: упоминания об этом краткосрочном, но ярком феномене отечественной общественно-политической и литературной жизни России начала новейшей эпохи нет ни у одного исследователя, включая всех цитированных выше, а также авторов последних по времени издания публикаций, посвященных анализируемому жанру [Харитонов, 2002, 428—431; Геллер, 2003, 171—176].

По сложившемуся в исследовательских кругах мнению, современный кризис утопической мысли еще не означает, что «эра утопизма» в мировой общественной мысли завершена. «Утопизм — одно из существенных свойств социальной психологии человека... — замечает К. В. Чистов. — Не подлежит сомнению, что утопизм (и социальный, и технический, и экономический, и экологический, и этносоциальный) есть неизбежный элемент человеческого мышления вообще, — это одна из типичных форм критического осмысления действительности, выражение неудовлетворенности ею, желания преодолеть ее вопиющие недостатки, сопоставить действительное и желаемое» [Чистов, 1995, 39, 54]. Столь авторитетный специалист, как В. А. Чаликова, справедливо резюмирует: «...большинство современных утопий — не модели совершенства, а либо альтернативы настоящему, с высоты которых оно судится, либо попытки представить себе реализованными последствия определенных теорий, моделей, проектов» [Чаликова, 1991, 8].

Знакомство с жанром социокультурной утопии помогает понять утопию именно как метод мышления, позволяет критически оценить альтернативы исторического развития общества, сколь бы гармоничны или дефектны они

ни были. Может быть, поэтому и в новом тысячелетии обречена на актуальность редакционная статья «Значение утопий», открывающая первый выпуск журнала «Идеальная жизнь». В далеком октябре 1907 г. ее автор пояснял читателям: «...инстинктивная потребность конкретизировать будущее существует во всех тех, кто думает, страдает и борется за достижение человечеством его конечных целей» [№ 1, 3]. В неясности и туманности этих конечных целей и заключается источник вечной юности человеческой мечты об «идеальном здании грядущей жизни».

Дискуссия о путях и методах построения идеального государства, развернувшаяся в утопической литературе, переросла в размышления о перспективах социально-политического, экономического и культурного развития человечества, об этике межличностных отношений, о содержании общечеловеческих и национальных ценностей, о социальной гармонии. Знакомство с ирреальным миром социокультурной утопии ведет исследователя к погружению в «параллельную» и «альтернативную» историю, панорамы которой, уже намеченные в народных утопиях, особенно ярко разворачиваются в авторской утопической литературе различных политических оттенков. Методологической основой изучения зыбкого мира утопий могут служить принципы новой культурной истории как истории представлений. Именно применение этого метода позволяет планировать в качестве достижимого результата отражение трансформации социокультурной истории, которая динамично эволюционирует от социальной истории культуры к культурной истории социального и предполагает реконструкцию общественного бытия посредством культурной практики.

Ахиезер А. С. Россия: Критика исторического опыта: (Социокультурная динамика России). Т. 2. Теория и методология: Словарь. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск, 1998.

Баталов Э. Я. В мире утопии: Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах. М., 1989.

Баталов Э. Я. Социальная утопия и утопическое сознание в США. М., 1982.

Бугров В. И. 1000 ликов мечты. Свердловск, 1988.

Бугров В. И. В поисках завтрашнего дня. Свердловск, 1981.

Бугров Д. В. Германизм в зеркале русской идеи: Исторические перспективы Германии в отражении русского утопического традиционализма рубежа XIX—XX вв. // Изв. Урал. гос. ун-та. 2001. № 21. Проблемы образования, науки и культуры. Вып. 11. С. 59—78.

Бугров Д. В. Исторические перспективы Германии в отражении русского утопического традиционализма рубежа XIX—XX вв. // Россия — Германия: Исторический опыт межрегионального взаимодействия: Ст. и мат-лы Междунар. науч. конф., 7—9 сентября 1999 г. Екатеринбург, 2001. С. 455—488.

Бугров Д. В. Политико-правовые идеи в русской социокультурной утопии второй половины XVIII в. // Проблемы истории России. Вып. 2: Опыт государственного строительства XV—XX вв. Сб. науч. тр. Екатеринбург, 1998. С. 226—234.

Бугров Д. В. Проблема идеального государства в интерпретации русской социокультурной утопии 2-й пол. XVIII — 1-й трети XX в. // Социальные трансформации в российской истории: Докл. Междунар. науч. конф., 2—3 июля 2004 г. Екатеринбург; М., 2004. С. 457—469.

Бугров Д. В. Российские интересы на Балканах в интерпретации отечественной социо-

культурной утопии конца XVIII — начала XX в. // Россия — Крым — Балканы: диалог культур: Науч. докл. междунар. конф. (Севастополь, 6—10 сентября 2004 г.). Екатеринбург, 2004. С. 294—304.

Бугров Д. В. Русская социокультурная утопия 2-й пол. XVIII в.: поиски идеального государства // Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: Мат-лы всерос. науч. конф. Ч. 1. 2—3 октября 2002 г. Екатеринбург, 2004. С. 60—66.

Бугров Д. В. Социально-политические идеалы русского консерватизма конца XIX — начала XX в. в творческом наследии С. Ф. Шарапова (источниковедческий аспект) // Документ. Архив. История. Современность: Сб. науч. тр. Вып. 1. Екатеринбург, 2001. С. 232—245.

Бугров Д. В. Социально-политические идеалы русской монархической утопии рубежа XIX—XX вв. // Проблемы истории России. Вып. 5: Опыт государственного строительства XV—XX вв.: Сб. науч. тр. Екатеринбург, 2003. С. 304—327.

Бугров Д. В. Социокультурная утопия как форма выражения общественно-политической мысли в России второй половины XVIII — первой трети XX в. // Историческая наука на рубеже веков: Ст. и мат-лы Всерос. науч. конф., 5—7 мая 1999 г. Екатеринбург, 2000. С. 210—218.

Бугров Д. В. Утопия в России: К истории развития литературного жанра во 2-й половине XVIII — 1-й трети XX в. // Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: Мат-лы междунар. науч. конф.: В 2 ч. Ч. 1. Екатеринбург, 2001. С. 31—40.

Геллер Л., Нике М. Утопия в России. СПб., 2003.

Гуминский В. О русской фантастике // Взгляд сквозь столетия: Русская фантастика XVIII и первой половины XIX в. М., 1977. С. 320—334.

Идеальная жизнь. [СПб.: Тип. Я. Баянского]. 1907. № 1—5.

Калмыков С. В поисках «зеленой палочки» // Вечное солнце: Русская социальная утопия и научная фантастика второй половины XIX — начала XX века. М., 1979. С. 5—38.

Ланин Б. А. Русская литературная антиутопия. М., 1993.

Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 7—276.

Свентоховский А. История утопии. М., 1910.

Святловский В. В. Русский утопический роман. Пг., 1922.

Святловский В. В. Каталог утопий. М.; Пг., 1925.

Тотомиянц В. Ф., Устинов В. М. Утопии: Социальный рай на земле. М., 1917.

Фойгт А. Социальные утопии. СПб., 1906.

Харитонов Е. «Русское поле» утопий // Фантастика 2002. Вып. 2: Повести, рассказы. М., 2002. С. 417—464.

Херасков М. М. Полидор, сын Кадма и Гармонии. М., 1794.

Чаликова В. А. [Предисловие] // Утопия и утопическое мышление: Антология зарубежной литературы. М., 1991. С. 3—20.

Чистов К. В. Утопии и современность // Русские утопии: Альманах «Канун». Вып. 1. СПб., 1995. С. 22—54.

Шарапов С. Ф. Через полвека: Фантастический политико-социальный роман // Соч. Т. 8. М., 1902. С. 3—80.

Шацки Е. Утопия и традиция. М., 1990.

Шестаков В. П. Эволюция русской литературной утопии // Русская литературная утопия. М., 1986. С. 5—32.

Bougrov V. I., Bougrov D. V. The first science fiction magazine in Russia: The history of social utopias // Science Fiction Journal (Stockholm). 1990. Nr. 154. P. 4.

Kleinwachter F. Die Staatsromane. Wien, 1891.

Le collectivisme. Bruxelles, 1906.

Sargent L. Introduction // British and American Utopian Literature. Boston, 1979. P. III—XV.